

Анатолий Николин

De profundis

Два эссе

Последние дни

«И что будто это порождение последних дней...»

Ив. Бунин

«Я — вне времени. Во времени мое тело».

Б. Хазанов

Ночь безмолвная, темная, неподвижная. Не ночь, а глухая, окаменевшая река.

Встаю с постели и смотрю на часы: они тикают на принтере, куда я их поставил, чтобы поглядывать на них ночью. Стрелки показывают около четырех утра. Точнее сказать не могу, катаракта не позволяет. Отдаленные хлопки минометной пальбы стихли так же внезапно, как и начались, и до рассвета теперь будет спокойно...

Бреду в кухню, чтобы выкурить трубку. Точнее, сделать вид, что курю. Курить мне запретили доктора лет двадцать назад, так что вместо вдыхания табачного дыма я довольствуюсь его имитацией. Посасываю пустую трубку, наслаждаясь ее сипением и едва различимым (с возрастом становится недоступным все, даже запахи) ароматом пахучего болгарского табака. Собственно, с этой целью я и встал. И вставал уже не раз на протяжении этой ночи. Сколько именно — не знаю, не пересчитывал. Мои ночные пробуждения ни о чем не расскажут, не поведают глубоких истин, не заставят задуматься. Они живут сами по себе, как и я — сам по себе...

В первый раз я поднялся с кровати в одиннадцать часов. В это время и началась артиллерийско-минометная дуэль между *теми* и *этими*. Я не знаю, кого мне следует называть нашими, а кого — не нашими. Обе враждующие стороны напоминают вывернутую наизнанку одежду: с виду она разная, а на деле одно и то же. И так же равнодушно жду, когда одни одолеют других...

... А потом уже и не помню, сколько раз, кряхтя и вздыхая, я покидал надоевшую постель, чтобы не отлежать бока.

Много...

Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1946 г. в Екатеринбурге. Окончил филологический факультет Донецкого государственного университета. Публиковался в журналах «Москва», «Новый журнал», «Слово\Word», «Белый ворон», «Крешатик», «Семь искусств». Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова (2015, 2017). Лонглистер Бунинской премии (2016). Живет в Мариуполе (Украина).

Чтобы разнообразить бессонную жизнь, я завариваю на кухне чай. Он получается то чересчур крепкий, то слишком слабый — все зависит от того, сколько порошка насыплешь спростонья в чашку. Равнодушно и неаккуратно. Не особенно беспокоясь, что после чая спать будет совсем неумоготу. Бессонница меня тоже не волнует, я давно не сплю по ночам. Когда перевалил за пятый десяток, не досыпал сначала час, потом другой. А с началом войны сон и вовсе ушел из моей жизни. Подремлешь с вечера часок по-куриному и всю ночь бодрствуешь, настороженно прислушиваясь к уличным шумам. Все как-то незаметно, естественно пришло. Из фанатичного любителя сна, каким я помню себя в молодости, превратился в странное, лишенное сна существо. Почти лунатика. Так что «оставь надежду всяк сюда (то есть — в старость) входящий...»

Прихлебывая чай, я поглядываю из-за кухонной занавески на пустую заснеженную улицу, там бодрствует один лишь фонарь на углу. Он освещает белые заснеженные крыши и безлюдную, аккуратно прочерченную проехавшим броневиком улицу — на ней чернеют следы его шин, закругляющиеся на повороте. Броневики патрульный. Различаю его высокую допотопную башню с расчехленным пулеметом, все его угловатое железное тело...

Броневики проезжает, посвечивая сигнальными огнями, и исчезает за поворотом.

Ночное спокойствие улицы меня возмущает. Хочется, чтобы зима была как зима: мела метель, и фонарь на перекрестке отчаянно раскачивался на ветру. В такие вечера я любил гулять по пустому, занесенному снегом городу. Прислушиваться к вою метели и с тоскливой радостью наблюдать, как засыпает снежной пылью ветхие крыши. Город зимою выглядит старым, глухим, уездным. И сам я живу не в двадцатом веке, а двумя столетиями раньше. Во времена князя Андрея и Пьера Безухова, Николая Ростова и княжны Марьи. А что удивительного? Город, в котором я прожил без малого всю жизнь, основан в 1778 году при императрице Екатерине Алексеевне. Персонажи Толстого — современники Александра I, ее внука, эпохи совсем близкие. Как прекрасен у Толстого зимний вечер на Святках! Молодежь Ростовых, переодевшись ряжеными, усаживается в широкие сани и трема тройками, с криками, смехом и звоном колокольчиков оправляется колядовать к соседям Мелюковым.

Ночь тихая, морозная, как сегодня, и «... как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, с сизым отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон». Снег похрумкивал под сапогами Николая, когда он соскочил с саней и побежал, чтобы пересечь в другие. Хрустел он и под моими ботинками, когда я возвращался, озябший, ночью домой после затянувшейся прогулки. И, придерживая шаг, остановился у соседнего особняка. Того самого, возле которого теперь сияет уличный фонарь. В ту пору фонари были другие: сдвоенные, закрепленные на крепких ажурных кронштейнах, и свет они лили тусклый, колеблющийся. Фонаришки гасил их каждое утро специальным приспособлением, а вечером зажигал снова...

Почему раньше было так хорошо, а сейчас так плохо?

Сердечная стезя моя все время уклонялась в сторону. Не на прямую дорогу жизни, а вглубь и назад. Только там, кажется, она и была возможна. Вероятно, оттого, что живу я в старом-престаром городе, среди домов, построенных «за царя Панька» — XVIII век... первая половина XIX... Когда-то это был маленький уездный городок — один из множества русских городков, описанных Чеховым и Буниным. Меня это обстоятельство поражало: их уже нет, и старой России нет. И новой — моей — тоже скоро не станет. А в городке все осталось, как было при них, во время их жизни.

Чувство странности, когда прошлое совмещается с настоящим, обуревало и того же Бунина. Особенно остро он его испытал во время путешествия в Святую землю. Муромцева вспоминает, как они наблюдали в Назарете местных женщин в длинных рубашках, наполнявших кувшины водой из древнего фонтана.

Ничего здесь не изменилось, — сказал Бунин. — Вот так же и Божья Матерь набирала здесь воду...

А на домик Иосифа смотрел с глубокой грустью: не дом, а жалкая конура. Все осталось, как было при Нем — ветхая кровля, низкий порог, темный проем вместо двери...

Так и у меня. Тихие улицы, дома, переулки... Все из прошлого, далекого или близкого. Я их любил безумно и устраивал ночные туры «в поисках утраченного времени». Они будоражили воображение, томили душу. Словно обещали сокровенную мысль, открытие. А ведь до них нужно было дожить, докопаться!

Это были улицы — целые кварталы! — кривые или ровные, застроенные домами большими и малыми, дорогими кирпичными и дешевыми саманными. На одном красуется в мезонине круглое итальянское окно, собранное из разноцветных стекол. На ветхом фасаде лепные фигурки: Геракл с палицей, женщина в хитоне. Кто она — Мегара, Деянира, Геба? Выхватываю из памяти древние женские имена, не помня, чем эти дамы занимались, чем прославились, кроме того что делили ложе с Гераклом. Память, знания, эрудиция — такая же зыбучая вещь, как песок, вздуваемый ветром. Они утекают, растворяются в кислоте времени, и не остается от них и следа. Можно ли считать состоятельным человека, обладающего столь эфемерным богатством?

Но мне приятно, что от дома, где расположена скромная часовая мастерская, отдает глубокой, почти античной стариной. Прошлой, окаменевшей, как древняя водоросль, жизнью. По мелким деталям фасада я восстанавливаю ее облик. Мне нравится, что дому присущи черты вечности, это единственный способ сохранить личностную цельность. И можно совсем отказаться от Времени. Его нет, оно — иллюзия. А значит, я тоже вечен, как эти итальянские стекла или Геракл со своей палицей. Как дом Иисуса с кривым крыльцом и низким входом...

Вот соседний (теперь уже не «наш», а российский) Таганрог — я часто туда приезжал в выходные дни, чтобы сравнить, сопоставить его с моим родным городом. Благодаря тому, что он лучше сохранился, воздух уездной старины здесь чувствуешь острее. Долго стою перед домом Ионыча. Он отлично выглядит со своей старинной лепниной и зелеными эрмитажными стенами. Кажется, вот-вот подъедет к крыльцу экипаж, запряженный сытыми лошадьми, и доктор Старцев, сопя и крикая, опустит на землю тяжелое, разжиревшее тело...

У входа, пожалуй, не хватает арки на случай дождя. В моем городе есть точно такой же древний дом, с похожей архитектурой. Но у нас от крыльца до бывшей когда-то булыжной мостовой протянут железный навес на витых металлических столбиках. Так что в ливень к экипажу можно было подойти, не намочив сюртука...

Типовая архитектура — недостаток не только советского градостроительства. В старину строили точно так же однообразно и безвкусно. Архитектор Нильсен, застроивший своими творениями едва ли не половину нашего города, наверняка точная копия чеховского зодчего Полознева из повести «Моя жизнь». Манерного, вечно повторяющегося и неталантливого. Был он единственным архитектором в городе и за всю жизнь не построил ничего нового. К его творениям привыкли и до сих пор считают их образцовыми, даже экскурсии устраивают...

Безвкусица по прошествии времени обретает черты изящества и благородства. Таков замысел бога Хроноса: всему старому он придает черты совершенства. В Древней Греции и Риме дело обстояло точно так же. И в Иудее, и Вавилоне. Всюду обустраивали и украшали города и жилища по устоявшейся, сложившейся традиции. Недаром в произведениях Чехова и Бунина все архитекторы — халтурщики и бездари, ведь заказчики, как правило, требуют простого и привычного. Бунинский толстовец Каменский говорил про таких: «созидают Вавилон». То есть — место общего греха...

И вот я люблюсь этим «Вавилоном» как высшим проявлением духа. Воистину все тривиальное со временем обретает нешуточную ценность!

Почему так происходит?

Трудно сказать, скорее всего, причина в ностальгии. Она-то и подвигла меня на тоску и воспоминания.

А ностальгия отчего берется? Почему прошлое оценивается по более высокой шкале, чем настоящее?

Я не знаю. Лучшее, что могу выдумать, — припомнить Хайдеггера.

«Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра, когда все окрест застилает снежная пелена, все скрывая от глаз, вот тогда наступает время торжествовать философии».

Это я к чему? Да к тому, что мне опять не спится. За окном глухая зимняя ночь, и вот-вот — так мне кажется, я ее предчувствую — разразится нешуточная буря со снегом и метелью. Не хуже, чем у философа в горах Шварцвальда. Мое воображение тоскливо и настойчиво («... а он, мятежный, просит бури...») призывает ветер и только ветер. В бурю заснеженная улица и мое душевное состояние выглядят драматичнее, чем на самом деле. Вероятно, я боюсь не дожить до весны, до лета. Артиллерийские и минометные обстрелы обычно заканчиваются полноценными боевыми действиями, и жизнь моя, наша, вновь окажется в подвешенном состоянии...

Похоже, я накликаю беду. После небольшой паузы снова послышались орудийные залпы. На этот раз они звучат отчетливее и страшнее. Звонко рокочет крупнокалиберный пулемет, он уверенно вмешался в артиллерийскую перепалку. Это значит — наступление? Или подготовка к нему?

... Ладно, не будем обращать внимания. Все прояснится скоро и — само собой.

Включаю электрочайник и завариваю новую чашку чая. Делаю первый глоток, всовываю в пасть старую, изогнутую отцовскую трубку. Привычно втягиваю щеки... И думаю, что существует взаимосвязь между человеческим самомнением и любовью к трубке. Трубку любили выкурить Хемингуэй и чрезвычайно самолюбивый Сталин. Точно так же ее любил не выносивший чужого мнения мой отец, во всем, даже в деталях одежды старавшийся походить на своего кумира. Каждый вечер, набив табаком трубку и вооружившись красным карандашом, он принимался за изучение какой-нибудь сталинской работы. С нескрываемым удовольствием, как будто курительная процедура возвращала меня в детство, я посасываю наследственную, пропахшую никотином трубку, и вместе с нею возвращаются моя детская чистота и вера...

А еще я помню — ваш автор старый курильщик! — замечательные албанские сигареты «Партизан» и французские «Голуаз». Первые мне довелось курить совсем недолго, пока наши отношения с Албанией не были испорчены по вине Хрущёва и Энвера Ходжи. Это были крепкие сигареты без фильтра, его в ту пору еще не изобрели. С табаком крупной нарезки, ароматным и темным, как гречишный мед. Запах меда не исчезал даже во время курения, чего с другими сигаретами обычно не бывает. После двух-трех выкуренных сигарет подушечки указательного, среднего и большого пальцев покрываются душистыми подпалинами. В течение дня нет-нет да и поднесешь к носу для вздыхания благоухающую горсть, сложенную, как для крестного знамения...

«Голуаз» — я доставал их в морском порту по фарцовке — сигареты, плотно набитые алжирским табаком, черным, как морщины бедуинов или приготовленный ими кофе. Трудно поверить, но я помню времена, когда Алжир был колонией Франции. Во всяком случае, «освободительную борьбу алжирского народа с французскими колонизаторами» запомнил хорошо — я уже с интересом читал газеты и свободно ориентировался в политических событиях.

Примеры «освободительной борьбы» — с убийствами французских поселенцев, насильствием арабами их жен и массовым захватом имущества и земли — напоминали

душераздирающие сцены из нашей недавней истории. В школе нам объяснили причину такой жестокости: алжирский народ ведет справедливую борьбу за национальное и социальное освобождение. Советские юноши и девушки должны любить алжирцев и их лидера Ахмеда Бен Беллу и ненавидеть колонизаторов-французов...

Ненависти к французам мы так и не научились, но бедных свободолюбивых алжирцев полюбили всей душой. Как могут любить чистые, неиспорченные молодые люди — горячо и искренно. Любили далекий, загадочный Алжир, алжирское темное вино, его в изобилии продавали во всех городских забегаловках. И крепчайший африканский табак — символ революции. Я и кофе, очень крепкий и без сахара, любил потягивать под сигареты «Голуаз» или «Партизан». Любовь к мягкому, утонченному чаю пришла позже, вместе с любовью к Лао-цзы и бесконечным, в духе индийских джатак, вариациям на темы жизни и смерти...

...Еще лучше было пить кофе под источавшую сладковато-горький яд первую вечернюю трубку. Раскрыт на столе том Гассенди или Гельвеция, гудит, грохочет за окном ночной ураган, а ты сидишь в тепле, и жизнь сочится медленно и сладко. И оттого, что так далеко, в такую несусветную даль занесла меня память, я волнуюсь, как ребенок. Говорят, в последние дни перед глазами человека проходит вся его жизнь. Мне страстно хочется вернуться к сигаретам «Голуаз» или к набитой свежим табаком отцовской трубке. К ночному кофе — иногда я готовил его по-ирландски, со столовой ложкой водки, превращавшей кофе в тягучий, мучительно-горький напиток. И к урагану с по-зимнему страстно и гневно грохочущей кровлей...

Я никогда не понимал жизнь и людей. С юности до зрелости полагал, что жизнь противоречива и неразумна, как и само существование человека. И радовался, находя подтверждение моим мыслям у Чехова.

«Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям».

Мне нравится, когда встречаются, сталкиваются, приветствуют друг друга и шумно негодуют сложные, взаимоисключающие состояния. Это наша прирожденная обреченность требует выхода. Мне по душе (я даже не заметил, как оно укоренилось) существование закрытое — жизнь человека в футляре. Хотя в век всеобщей открытости, при отсутствии личных и общественных тайн, такой образ жизни представляется маловероятным. Но он — есть, существует, и таких людей много. Скажу больше: чем свободнее общество, тем значительнее число особей, стремящихся улизнуть от его всевидящей открытости. Человеческие скопища чреватые эпидемиями привычек и грубым выяснением отношений. Насилием и войнами. Бесцеремонным навязыванием сомнительных ценностей и стереотипов. Замкнутость гуманна, безопасна и человечна. Бесконечно ставит один и тот же вопрос, сформулированный Андре Бретоном: «кто я есмь?» Она ставит его, потому что в ответе на него и кроется разгадка человеческой жизни...

...Звуки артиллерийской пальбы становятся все ближе и явственней. Постепенно они смещаются к северу, сливаясь в тяжелый, угрожающий гул. Он нарастает, как будто стремительно несется навстречу тяжело груженный состав.

И внезапно стихает. А еще через полчаса вспыхивает с новой силой. Теперь канонада слышна на востоке, в районе Широкино. Этот большой, бывший когда-то богатым, рыбацкий поселок за два года войны разрушен и разграблен. Севернее от него поселок Коминтерново — бывшее греческое село Пикузы. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, там еще теплится жизнь. Тут-то, между Широкино и Пикузами, и развернулось настоящее сражение. Бои идут за овладение высотами на

подступах к Мариуполю. Из Широкино город просматривается как на ладони — его гигантские заводские трубы, высотные здания нового-старого микрорайона «Восточный»... А на противоположной стороне, по трассе Мариуполь—Таганрог село Безыменное — здесь тихо, снаряды сюда не долетают.

Широкино и Безыменное расположены вдоль бывшего пушкинского тракта. Поздней весной 1820 года Пушкин проезжал здесь с семьей генерала Раевского, направлявшейся в Крым.

28 мая поезд Раевских выехал из Екатеринослава и утром 29-го достиг Мариуполя. Морского порта в городе еще не было, и единственный порт на Азовском море, из которого можно было добраться до Крыма, находился в Таганроге.

В Мариуполе путешественники остановились на короткий отдых. Базарная площадь и старая гостиница на ней сохранились по сей день. Долгое время в бывшей гостинице располагалась столовая, мне доводилось там обедать и пить пиво.

Мариуполь в начале XIX века был населен исключительно греками — переселенцами из Крыма. Пушкина они чрезвычайно интересовали, он думал найти в них героев наподобие Ахилла и Патрокла. Но увидел полунищих оборванцев в восточных халатах, говоривших на дикой смеси греческого и татарского языков. «Жалкий народец!» — написал в одном из писем в Россию...

Крушение иллюзий неприятная вещь, но она подключает разум.

О греках античных и современных размышляет в «Дневниках» и Дж. Фаулз. В 1952 году он приехал на работу в Грецию, надеясь (как и Пушкин) увидеть в этой стране древних героев. Но реальность всегда иная, чем в эпических поэмах. Первое, что бросилось ему в глаза, — «ужасный диссонанс между красотой пейзажа и современными греками». Красота природы и некрасота человеческих поступков. «В греческом характере есть что-то грубое, нехристианское. Они своего не упустят».

Точно подмечено, знаю по нашим...

Славные эллины у Фаулза лукавы, суматошны, страшно неорганизованны, ленивы, бессердечны, блудливы (блуд у них заменяет любовь, в этом они подлинны дети античности), напыщенны, корыстны. И тщеславны, как все малые народы. Наши греки, например, пытались отбить у греков таганрогских право считатья родиной поэта Николая Щербины. По материнской линии он греческого происхождения, и вся его родня жила в Таганроге. И сам он жил в этом городе, учился в гимназии. Но родовое имя Щербины Грузско-Еланчинское ближе к Мариуполю, чем к Таганрогу. Вот и называют местные краеведы Мариуполь родиной Щербины. А таганрогские в ответ гордо отмалчиваются: не царское дело дискутировать с невеждами!..

... Несколько часов отдыха, и Раевские с Пушкиным снова в пути. Между Широкино и Безыменным по просьбе Маши коляска сворачивает к морю. Далее местные знатоки отсылают к XXXIII строфе первой главы «Евгения Онегина»: «Я помню море пред грозою...» Судя по стихам, юная Маша Раевская окунула-таки ступни в набежавшую морскую волну, коей влюбленный поэт искренно позавидовал...

В Безыменном росла когда-то дубовая роща, послужившая прототипом волшебного дуба из «Руслана и Людмилы», — в мое время старики показывали место, где она находилась. Азовское море делает здесь широкий полукруг, образуя Таганрогский залив — пушкинское Лукоморье...

Эти места я хорошо знаю смолоду — и Широкино, и Безыменное. Часто приезжал сюда летом купаться. Город переполнен отдыхающими из Москвы, Ленинграда, с Урала и даже из Сибири. Приезжали все, кому доктора рекомендовали теплое йодистое море и целебные грязи. Грязями лечили ревматизм. По городскому пляжу разгуливали странные личности, с ног до головы (и даже с головой!) измазанные засохшей или свежей, синеватого тона, морской грязью. Как черти на празднике Нептуна... Морской водой полоскали носоглотку и набирали ее в бутылки для полоскания на ночь дома...

Народу на пляже — не протолкаться. Раздосадованные местные искали для пляжных утех уголки поукромнее, посвободнее; выезжали на дикие пляжи за город — на запад, в сторону Бердянска, или на восток, ближе к Таганрогу.

Купаться в Таганроге не очень приятно. Пляжи с неплохим чистым песком, но море... Море здесь такое мелкое, что едва доходит до лодыжек. Часами можно брести по мутной, теплой воде, не намочив коленей...

Таганрогский порт тоже не производил впечатления. Жарким августовским днем я бродил здесь в поисках таверны, где сиживал Джузеппе Гарибальди, когда торговое судно, на котором он плавал матросом, заходило в город. В Таганроге во время разгрузки-погрузки моряку делать нечего, только сидеть в таверне и скучать, такой он был маленький и не обильный на развлечения. Вот мне и захотелось взглянуть на это заведение поближе.

Долго плутаю кривыми портовыми улочками. Жара, пыль, чахлые акации... Никакой таверны в этих трущобах нет и в помине, один лишь скромный памятный знак. А на холме — огромный, в духе Зураба Церетели, памятник Петру I. В одной руке у императора свиток (карта?), а в другой — подозрительная труба. Пристально и недоверчиво он вглядывается в бескрайнюю морскую даль. А даль перед ним абсолютно пуста. Море, как и у нас, бледно-синее, бликует золотом и серебром...

Торговый порт тоже пуст и безжизнен. На берегу штабеля приготовленного для отправки леса-кругляка и — ничего больше. Людей не видно, привычного портового оживления — тоже. На рейде скучают два-три сухогруза, по виду каботажные. Одинокое покачивается шлюпка, привязанная к свае...

В Таганрог я приехал рано утром, а сейчас полдень. Два-три часа еще можно побродить по городу, а потом надо уезжать. Ночевать здесь я не собираюсь. Предпоследний автобус уходит в семь вечера, важно на него не опоздать. Потому что последнего, в девять, может и не быть. Рейс иногда отменяют из-за отсутствия пассажиров — с одним человеком в салоне водитель ехать откажется...

Чем же мне занять оставшиеся часы?

Обедаю в грязной пирожковой на Базарной площади. Она насквозь продувается знойным ветром-левантом, несущим сор, пыль и промасленные бумажки, в которые заворачивают пышущие жаром пирожки. С чеховских времен здесь ничего не изменилось. Те же деревянные лавки — их уже запирают на ночь, сложив крашенные дверцы ставен книжицей и гремя винтовыми замками. Ровные ряды прилавков... Торговки, устало перекликаясь, собирают пустые корзины из-под яблок, груш, малины. Тянет жирным запахом свежельвленной тарани, мужик в распущенной рубахе торгует последними арбузами с земли — теплыми, вялыми. Их уже не берут, но мужик не сдаётся, отчаянно зазывает одиноких покупателей: «Арбузы, мамочки, сладкие, астраханские!..»

«Мамочек» — да и папочек — не видно здесь совсем: конец торгового дня. Рынок пустеет. Вот-вот из-за поворота появится толстая фигура надзирающего за порядком Очумелова. Он грозно уставится на потных торговков, на последних покупателей. И, убедившись, что народ расходится по домам, удовлетворенно поправит горячий от солнца козырек форменной фуражки...

Пляж наполовину пуст — к морю в дневную жару местные не ходят. Спускаюсь к нему бесконечной лестницей, обсаженной акациями и уставленной псевдостаринными фонарями. С площадками для отдыха, где к бордюру привалены лавки с гнутыми спинками. Море блещет вдали, как рыба чешуя. И все вместе — блестящее море, старинные фонари, массивные лавки, желтоватые, из песчаника, плиты покрытия — что-то живо мне напоминают. Что-то старое, чеховское, имеющее отношение к XIX веку, а не к сегодняшнему дню. Как и запахи моря и рыбы, смешанные с духом полыни, пересохшей зелени и чего-то еще, южного, нестерпимо сухого и тонкого.

Лестница, по которой я спускаюсь, и открывающийся с нее вид так похожи на аллею с беседками и скамейками из рассказа «Огни»!

«Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз.. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега...»

Может быть, — думаешь — беседка и есть та самая? Предположение, поначалу отпугнувшее, уже не кажется необычным. Люди приходят в мир, чтобы уйти из него быстрее, чем созданные ими вещи: орудия труда, предметы быта, уличные ансамбли. Как и чеховская лестница. Если подумать, она еще очень молода. И Чехов не так давно здесь жил, гулял, купался в море. В тех же мелких, серебристых волнах, на которые смотрю и я, щуря глаза от нестерпимого блеска. И думаю, как вечен этот мир. И что наше в нем присутствие не так уж обязательно. Всегда чувствовал колоссальную разницу между людьми и миром — он только терпит нас, вежливо и отстраненно. И живет своей, неведомой нам жизнью. Иногда даже кажется, что он — мыслит...

Так и я — живу своей жизнью отдельно от всех. От бойцов двух армий, истребляющих друг друга. От спорщиков в телевизионных дискуссиях, выясняющих кто в этой войне прав, а кто — виноват. Мне видится в их рассуждениях бесконечно тянущаяся словесная и смысловая нить, подобная нити Ариадны. Но в отличие от оригинала она никуда не уводит и ни к чему не приводит. Ни к выходу из Лабиринта, ни к продолжению жизни — светлой и радостной она уже не будет. И залпы орудий близ Широкино подтверждают мое предчувствие: да, говорят они, мы пришли надолго, если не навсегда. Наш удел — разрушать, а создавать — уже без нас — будут другие люди. Мир совсем новый, неведомый, не похожий на тот, о котором с такой любовью вспоминается и поется...

Позабыв о сне, я пью в кухне чай и не думаю о будущем. Вреден для здоровья такой образ жизни или полезен — мне безразлично. Как и длительность моей жизни. Пытаюсь отвлечься от дурных предчувствий, чтобы дотянуть до утра в более или менее смирном состоянии духа. Зимой утро наступает поздно, и можно не спешить. Ни в мнимом моем курении, ни в злоупотреблении чаем — хоть какое-то развлечение в монотонном хождении по кухне.

Андре Бретон поставил важный вопрос: «Кто я емь?» — возвращаюсь я к старой теме. Только уяснив, кто я — не в мире, а вообще, в мире мы самые разные, — можно продолжать рассуждение до пределов возможного. В пределах нашей сущности. Заканчивает Бретон фразой, приводящей в смущение. В состоянии мертвой, тупой покорности: «...чтобы стать тем, кто я есть, мне надлежит прекратить свое бытие».

Вот я его и прекратил. Перестал входить в мир людей. И топтаться среди них, как в грязной, переполненной чужой одеждой и вещами прихожей. Как раньше интеллигенция входила (а потом с трудом из него выходила) в простой народ. Поняли, что заблуждались...

Точно так же и с хождением в человеческий мир: оно — тоже ошибка. И, возможно, фундаментальная. Поскольку искажает мое «я». Будущее — мир одиночек.

А кто, собственно, знает, что такое это «я»? Определить его, сформулировать невозможно. Оно вне атрибуций, причин и следствий. Называют его по-разному: совесть, душа, любовь, смирение. Прекрасное, самоотверженное, дарующее и даруемое... Чем больше определений, тем менее вразумительным оно представляется. И тем большей горечью наполняется сосуд, который никогда не оказывается наполненным...

Твердо знаю одно: то, что мы ищем, лишено тяги к приобретению. Его задача не

братъ, а испытывать. Поэтому так враждебен ему внешний мир. Как и внешний мир не испытывает к нему любви и доверия.

Все это довольно голословно, но выразиться иначе мне трудно. Испытываешь то, что редко удается: ощущаешь его во всей полноте, как будто оно лежит у тебя в кармане и, протянув руку, можно его нащупать.

Их обычное бытие не в мысли — по Декарту, — а в действии: я действую, следовательно, существую. В том самом мире, которого еще недавно я был неразличимой и неразделимой частью. В месте, где люди, как выражается бунинский Каменский, «созидают Вавилон». И вместе со всеми я охотно его «созидал» и не скорблю по этому поводу. Не сокрушаюсь из-за очевидной бессмыслицы нашего времяпрепровождения. Меня теперь в нем нет. Я от него в удалении. Выше и дальше, чем предписано человеку. Не он моим, а я кажусь его уделом. В дни наступившего конца — последних дней земной жизни и начала другой, альтернативной. С последними — и скудными! — воспоминаниями о прошлом, случайными, как человеческая жизнь.

Два часа одиночества

«Мы покинули территорию, где пребывали прежде...»

Дж. Кутзее

I

«Нет, все-таки война здесь ни при чем», — подумал я, поднимая с привычным шорохом опущенные после полудня жалюзи: яркое предзакатное солнце косо заливало монитор компьютера, и работать при его свете было невозможно.

Окно комнаты, где я сплю и пишу, выходит на запад, и жалюзи — насущная необходимость. Летом или поздней весной, как сейчас, день длится долго, и света в комнате всегда в избытке. Электричество включаю поздно вечером, когда в сумерках заканчиваю писать или читать и приходит время готовиться ко сну.

Собственно, приготовлениями неспешные мои телодвижения назвать нельзя, все намного проще. Легкое, в течение одной-двух минут превращение дивана в кровать, чистка зубов, избавление от одежды. Короткое — «Спокойной ночи!» — прощание с женой, зависшей в гостиной на очередном телесериале, и в ответ ее тихой ласки исполненное пожелание: «Спокойной ночи, дорогой...»

Не удивляйтесь: спать я ложусь рано, — если, конечно, вас интересуют подробности моего быта. Утром я встаю затемно и с наслаждением отдаюсь неспешному бегу трусцой в сереющем в утреннем воздухе парке. Улицы и парк пусты, как после атаки нейтронными бомбами... ни души.

Одиночество я люблю и предпочитаю его самым интересным видам деятельности. Оно ведь тоже деятельность, и довольно неустанная. Но в отличие от того, чем занимается активное большинство, мои занятия не требуют участия коллектива, массы, пусть даже в скромных размерах. Если бы я родился в другое время и в иных социальных условиях, моей профессией стало бы, вероятно, сапожничество.

В отрочестве мама нередко отправляла меня с визитом к сапожнику с сумкой, полной требующей ремонта обуви. Я входил в маленькую, пропахшую кожей, ваксой и иными сапожными пряностями будочку дяди Виталия на перекрестке двух оживленных улиц. Летом будочка распахнута настежь, а зимою хозяин выдает и принимает обувь в маленьком мутном окошке, и видно, что внутри будка отапливается большой спиральной электроплитой.

Подняв голову, дядя Виталий, рослый детина в черном, заляпанном фартуке, приветливо машет кривым молотком и мычит что-то приветственное: рот у него набит мелкими гвоздями, которые он легко и изящно вколачивает в каблук миниатюрной женской туфельки...

Внимательно и сосредоточенно мастер осматривает каждый башмак, каждую туфлю, черкая мелом по каблуку или носку и ставя крестики по всей подошве. Закончив черкать и пометать, выписывает квитанцию, послунявив огрызок химического карандаша.

«Приходи через три дня, — сообщает он. И — после небольшого колебания: — После обеда...»

Оформив заказ и перестав обращать на меня внимание, дядя Виталий сосредоточенно принимается за прерванную моим появлением работу...

«Целый день он сидит у себя будке, — размышлял я, вышагивая тенистой, только что политой поливальной машиной улицей к дому. — И как ему только не скучно? Клиенты приходят нечасто, поговорят с ним пять-десять минут, и опять он остается один, только упорное постукивание молотка нарушает звенящую тишину. И о чем можно думать целый день в одиночестве, неужели только о туфлях и башмаках?»

Мне было жаль одинокого гиганта Виталия, заперевшего себя на всю жизнь в тесной лачуге, ведь он добровольно лишил себя множества человеческих радостей. И радость общения из них главнейшая! Мне и в голову не могло прийти, что пройдет время, и я с завистью буду думать, что мог бы стать таким же сапожником, как Виталий, или робким маленьким часовщиком, как неприметный и, кажется, неосязаемый Марк Сконин из рассказа Ирен Немировски. И вот это время пришло: я повторяю скромную аскезу Виталия, находя в ней больше счастья, чем в самом шумном и ослепительном существовании...

Молодость и зрелость, конечно, брали свое. Ни от чего я не отказывался, что предлагала мне жизнь. Но чем ближе царство Персефоны, тем меньше радости я испытывал от рулетки с однообразно вращающейся стрелкой. Грех и праведность в жизни чередовались, как время дня и ночи, даруя то насыщенность мирской пагубой, то очищение от нее.

II

Отдых от избытка впечатлений исключает уныние. Отдыхающий фавн наслаждается покоем и даже не помышляет о толпах вакханок, слоняющихся близ него. Активная фаза жизни не знает одиночества за исключением минут, когда вы оказались одни в силу случайности или необходимости. Вас одолевает досада, поскольку это связано с отторжением от мира, и одиночество представляется чудовищным испытанием. Это состояние абсурда наоборот, если следовать философии экзистенциалистов. Трудно предположить, что знаки когда-нибудь поменяются, и то, что выглядело плюсом, окажется со временем минусом.

С некоторых пор меня одолевает ежедневная усталость. На нее некому пожаловаться, а близкие не видят в ней ничего из ряда вон выходящего. «Что ж, — говорят их сочувственные лица, — это можно понять. Ты хорошо пожил, и остаток дистанции теперь должен бежать в щадящем темпе. Или вообще перейти на спокойную, размеренную ходьбу. В конце концов, — убеждают они, — в твоём возрасте так поступают все, спешить тебе некуда...»

Они правы и неправы, как Ходжа Насреддин в известной притче. Мудрый старец выслушал пришедших к нему с взаимными жалобами соседей и заявил, что каждый из них... абсолютно прав!

В физическом смысле торопиться мне действительно некуда, однако умственная энергия и то, что называется *духом*, — явление, науке совершенно неведомое, —

требуют юношеской интенсивности. Целые дни, забывая поесть, я проводил за компьютером, поглощая пищу, которую всю жизнь откладывал на потом. На то благословенное и смутно брезжащее в сознании время, когда можно разогнуть натруженную спину и отдаться радостям виртуального бытия; это было существование, сравнимое с жизнью на иной планете или в параллельном (или не параллельном, а в каком-то ином) мире. И только наличие на столе чашки с простывшим чаем свидетельствовало, что я не исчез, не растворился в водах иной реальности, а существую в привычной. Что наводило на размышления о Рае — месте не таком уж таинственном, если принять в качестве гипотезы, что этот оазис находится не вне, а внутри нас. Со всеми своими яблоками соблазна, Адамами и Евами; присутствие Евы особенно ободряет, потому что хорошие стихи можно слагать только при наличии этой милой дамы. У меня же они складывались (и читались у других поэтов, их я открывал для себя в большом количестве, компенсируя недостаток чтения в молодости), как у восторженного юноши, — о Даме в самых разных ее ипостасях.

III

Я так увлекся новой жизнью, что перестал обращать внимание на происходящее. Оно мне стало неинтересно. Банально и скучно. Плоско и глупо. Равно как и действующие лица скверной многословной пьески под названием «реальная жизнь». У человека, много пережившего и повидавшего, вульгарная драматургия вызывает отвращение.

Мой же новый мир восхищал и волновал; заставлял страдать и сочувствовать, наслаждаться и размышлять — сначала приходит чувство, а потом размышление, как и положено по законам перцепции. В утренние часы моих занятий я чувствовал прикосновение чьих-то теплых и нежных рук, их ласка казалась подлинной, а ответные чувства искренними и бескорыстными.

Нет без тебя мне жизни на земле,
Утрачу слух — я всё равно услышу,
Очей лишусь — ещё ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.

(Рильке)

Эфемерная Лу Саломе будила воображение, мне казалось, что нечто, живущее во мне, сильнее и чище переживаний, имеющих подлинную основу. Я был так поглощен им, что едва справлялся с повседневными делами: помощью жене в домашнем хозяйстве, общению с дочерью и внучкой, втайне надеясь, что они поймут и простят. Ежедневное мое самоуглубление не имело практической пользы, мне совестно посвящать в него семью и требовать оправдания своему бездействию. Что у человека совестливого, каким я себя считаю, не может не вызывать чувство смущения и стыда...

IV

Первой перемену в моем отношении к миру заметила жена.

«Почему тебя всё раздражает?» — как бы невзначай спросила она. Был вечер, мы ужинали, и я невольно поморщился, когда она рассказывала какую-то драматическую и нелепую историю, связанную с ее подругой.

«Что значит — всё?» — покраснел я, как пойманный на краже мальчишка.

Она посмотрела и улыбнулась:

«Всё — значит всё...»

Ее уклончивость показалась забавной. Я рассмеялся и сказал то, что могло быть понятно каждому:

«Еще не отрешился от работы».

«Чем же ты был занят так долго?» — спросила жена.

«Читал биографию Хайдеггера».

«Это так интересно? — вскинула она брови. — Так интересно, что ты можешь забыть все?!»

«Как сказать... Книга написана неважно, но дело ведь не в этом...»

«В чем же?»

«В мировоззрении. Меня насторожил Dasein — это то, с чем я не могу согласиться».

«Ну — это не мое дело, — подумав, покачала головой жена. — Выясните отношения сами, потом расскажешь, что у вас получилось...»

Мне хотелось в доступной форме объяснить ей смысл моих претензий к философу, но я удержался. А спустя некоторое время понял, что этого и вовсе не следует делать. Ни с женой, ни с кем-либо еще, даже с самим Хайдеггером, буде он жив и так же полемичен, как в молодости. Сумма личных ценностей тотчас оказывается растраченной, едва мы принимаемся объяснять их во всеуслышание. Тютчевский *Silencium* — единственно возможная форма общения с окружающим миром, если тебе есть что рассказать помимо показаний домашнего электросчетчика или цен на продукты в ближайшем супермаркете.

И как только я умолк, мир стал казаться вполне приемлемым для жизни ковчегом, где не бывает тесно ни с голубями, ни с тиграми.

V

Выше я говорил, что нынешняя жизнь чрезвычайно меня увлекает. Малейшее отклонение от канона волновало и раздражало, приводило в отчаяние; я чувствовал свою зависимость и ничего не мог поделать с утратой, когда ее лишался. Это могло быть что угодно: болезнь кого-нибудь из членов семьи — и житейский график оказывался нарушенным, нужно было жертвовать собою ради помощи близкому человеку; собственная болезнь или недомогание, делавшие привычные ощущения невозможными. Обычная усталость, наконец, сводившая на нет любые усилия. Другими словами, отвращение к устоявшимся формам жизни касалось всего, кроме моих интеллектуальных штудий.

К досаждавшим мне случайностям можно отнести и явления технократического характера — ремонт квартиры, например. Или сбои в работе компьютера, — волшебной машины, дарующей незабываемые впечатления. Иной раз поломки принимали драматический характер, компьютер приходилось отключать и тащить в сервисный центр. А потом неделями ждать, когда чудо-машину приведут в порядок...

Так и в этот раз. Внезапно и в самый неудобный момент — я только что принялся за давно задуманную работу — отключилось электричество. В результате телефонных переговоров с диспетчерской службой выяснилось, что в топливно-энергетической компании об аварии не имеют представления.

«Разбираемся, — последовал хладнокровный ответ бесстрастной, привыкшей ко всяким неожиданностям служебной дамы. — Вероятно, повреждена линия электропередач. Когда дадим свет — неизвестно...»

С началом войны на Украине истории подобного рода стали обыденностью. Под Волновахой во время интенсивных артобстрелов не единожды оказывался перебитым кабель компьютерных сетей. В паузах между боями дежурные бригады с риском для жизни — неизвестно, когда эти паузы будут нарушены, — устраняли аварию, и приходилось терпеливо ждать, когда восстановится связь с привычным миром.

Часы одиночества — они так томительны и грустны! — компенсировал чтением какой-нибудь бумажной книги. Для пожарных случаев выбрал чтение, точнее — перечтение — Стендаля. К его длинным, многословным романам я относился приблизительно так же, как Сент-Бёв, но книги об искусстве, дневники и письма очаровывали с юности. Стендаль оказывался не к месту и не к «образу мыслей» в часы военных действий и ремонтных работ, и я с трудом ворочал периоды благородного синтаксиса, понимая, что никуда не денусь и надо продержаться, пока не запустят Сеть.

Однако в случае, о каком идет речь, все сразу пошло не так. Мне ничего не хотелось, — ни перечитывать Стендаля, ни рыться в домашней библиотеке в поисках более подходящего чтения. Я был полон впечатлениями уходящего дня: в полдень закончил читать роман Патрика Модiano, даровавший наслаждение чудесным стилем. Красота в моем представлении предпочтительнее точности, и гармония нередко враждует со смыслом. Но в прозе Модiano пропорции так изящны, что точность не вредила красоте, и наоборот. Наслаждался балетными композициями Джорджа Баланчина в исполнении французских танцовщиков, их я предпочитаю всем остальным. Слушал миниатюры Губайдулиной «Offertorium» и «Танцующее солнце»... Искусство создано для печали, и без него ощущаешь одиночество такой силы, какое не испытывал прежде...

А потом...

Потом вдруг отключился свет. С металлическим шорохом взлетели под потолок серебристые полоски жалюзи, и в комнату хлынули нежные весенние сумерки. Кое-где зажглись фонари; глубоко внизу быстро и почти бесшумно, как разноцветные птицы, пронеслись автомобили самых современных модификаций — без привычного рычания двигателей и запаха отработанного горючего. Передвигались темные, бесполые фигурки спешащих людей — очевидно, домой с работы, куда еще можно торопиться «в час меж волком и собакой»? Время дневных забот прошло, а время ночных удовольствий еще не наступило. Да и велика ли разница меж тем и другим там, внизу, — подумал я с невольной обреченностью, словно шествовал вечерней улицей, полный дневных впечатлений и дневной усталости.

От ужаса, что еще недавно я был одним из этих несчастных, таким же, как они, носителем вечной суеты, меня пробрала зябкая дрожь. Хорошо, что я здесь, наверху, — подумал я, окидывая взглядом смутную панораму погружающегося в ночную тьму города. И никогда, никогда не окажусь там, откуда я прибыл, с теми, от кого однажды ушел, не оглядываясь. С их вечной мастью, похожей на броуновское движение молекул, грязными улицами, дышащими испарениями фастфудов и стритфудов, человеческого пота, пыли и дешевой косметики; с их почтами, аптеками, супермаркетами, банками, пивными и таксомоторами; с их женитьбами, разводами, роддомами и домами скорби, — со всем тем, что роднило и сближало меня с этим миром. Теперь я от него свободен. И вкушаю яства, ему недоступные. Да и, откровенно говоря, совсем ему не нужные...

Когда наконец дали свет — два часа пролетели почти в полной темноте и размышлениях — я испытал... разочарование. Свет был частью того прекрасного и безнадежного мира, какой я оставил в неспешном своем бегстве. А простился с ним только сейчас, когда тьма покрыла его, чтобы сделать его уход частью жизни, счастливой и неприхотливой.

Январь 2017 г. — апрель 2019 г.

г. Мариуполь